

Л. Н. Кен

Привязанность сердца

«Дружная, сплоченная крепкой любовью», — так называет семью большого русского писателя Леонида Николаевича Андреева его невестка Анна Ивановна Андреева. «Глубокая привязанность сердца, — пишет она в другом случае, — родовая черта андреевской семьи».

Анастасия Николаевна Андреева и шестеро ее детей, перебравшиеся из Орла в Москву, а позже в Петербург, представляли собой тип русской семьи, привыкшей в трудностях жизни искать поддержки друг у друга. Несомненно, центральной фигурой в доме был Леонид Николаевич — старший из братьев и сестер, в ком и они, и мать всегда видели «источник разума, справедливости и совета».

«Вот он сидит за большим самоваром рядом со своими братьями Андреем и Павлом, — вспоминал К. И. Чуковский, — и его сестра, голубоглазая Римма, подает ему шестую чашку чаю, а тут же, недалеко от него, кутаясь в темную старушечью шаль, сидит его мать Настасья Николаевна и смотрит на него с обожанием. Он до конца своих дней любил ее горячо и порывисто, что не мешало ему в семейном кругу без усталости потешаться над нею и сочинять про нее небылицы. <...> На все эти шутки она отвечала улыбкой, так как чувствовала в них сыновнюю ласку и была счастлива, что ее возлюбленный Коточка — после долгого периода тоски и уныния — наконец-то развеселился вовсю, стал шаловлив и дурашлив. И вся семья вместе с ним веселела, и в доме на две-три недели водворялся какой-то наивный, очень искренний, простосердечный, провинциальный уют. <...> Но замечательно: при всей провинциальности, в нем не было и тени мещанства; обывательская мелочность, скарденность, обывательское “себе на уме” были чужды ему совершенно; он был искренен, доверчив и щедр»¹.

Автору публикуемой рукописи² дано было видеть Леонида Андреева в течение ряда лет и с очень близкого расстояния. Начало общения — 1902 г., Москва. Анна Ивановна вошла в семью, став женой од-

ного из братьев Андреевых — Павла Николаевича. Позднее были Петербург, Ваммельсуу, переписка... Последнее письмо Л. Андреева, адресованное А. И. Андреевой, датировано 15 (28) марта 1918 г. В нем писатель обращается к невестке как «к человеку разумному» с деликатным поручением: «спокойно и тихонько, не раздражая», убедить тяжело заболевшую мать повременить с возвращением из Петрограда в Ваммельсуу. «Поговори с ней ласково, — писал Л. Андреев, — убеди и уверь, что я от любви хочу ее оставить в городе, а не от ненависти»³.

В своих воспоминаниях А. И. Андреева подробно рассказывает об огромной, почти жертвенной любви и преданности, которая связывала всех Андреевых и особенно двух братьев — Леонида и Павла. О себе, своей роли в семье говорит скупно, в третьем лице, почти всегда оставаясь в тени. И при этом сама тональность повествования, подчеркивание положительных качеств Павла Николаевича и других Андреевых убеждают в том, что их автор — человек глубоко чувствующий, любвеобильный, искренний и остро болеющий за близких.

И еще одна важная особенность публикуемого текста. На титульном листе рукописи стоят две даты. Первая — 2 июня 1923 г. — день смерти Павла Николаевича. Возможно, это знак того, что горестное известие стало толчком для написания воспоминаний — своего рода надгробного плача по безвременно ушедшему первому мужу. Вторая дата — 1924 г. — завершение работы. В эти же годы готовятся к изданию воспоминания о Леониде Андрееве его братьев Павла и Андрея, а сестра Римма в 1925 г. публикует очерк «Мать Леонида Андреева». У каждого из авторов свое видение семьи, знаменитого брата, своя правда, не вступающая в противоречие с правдой других. Эти воспоминания естественно дополняют друг друга и также естественно подтверждают заветную мысль Анны Ивановны Андреевой о сплоченной крепкой любовью андреевской семье.

Анна Ивановна Андреева

**Память о Павле Николаевиче
Андрееве***

«Живые знают, что умрут, а мертвые ничего не знают, и уже нет им воздаяния, потому что и память о них предана забвению, и любовь их и ненависть их и ревность их уже исчезли, и нет им более части во веки ни в чем, что делается под солнцем»

Екклесиаст⁴.

*«Что сделала ты для меня, мертвого?»
(Слова Павла Николаевича ко мне во сне).*

Четверо братьев было в семье Андреевых: Леонид, Всеволод, Павел и Андрей.

Андрей последним был. Вырастал в то время, когда ушли уже самые черные дни Леонида: попытки к самоубийству, пьянство, – и они не отразились на душе Андрея. Вырастал он на воле и неудержимо любил волю. Летом целыми днями пропадал в лесах и полях. Юношей уходил пешком бродить по России. Ушел пешком из Москвы к Черному морю и пешком же вернулся обратно худой и загоревший, пыльный, как бродяга.

И от вольных лугов, от солнечных дней и закатов на душу его легли солнечные пятна. Всю жизнь звала его к себе земля – лес и поле.

Выбитый из обычной колеи войной, он жалел, что «мало побродил по свету, когда имел к тому возможность».

Семья, мать, Леонид давали ему любовь самую нежную, и как баловень, как должное принимал эту любовь Андрей⁵.

Всеволод⁶ был чужаком в семье, не похожий ни внешним, ни внутренним обликом на других братьев. Был добрый, любил семью, поклонялся Леониду, благоговел перед ним, робел, стеснялся своей отчужденности, но жил жизнью простой и реальной – маленькой жизнью чиновника – судебного пристава. Ничего «андреевского» в нем не было.

Павел⁷ был брат Леонида не только по крови, но и по духу, самым близким, самым родственным ему.

Вырастал сам и складывался характер Павла под непосредственным влиянием жизни Леонида – его переживаний и настроений. И все самое тяжелое, тревожное, кошмарное, что было в жизни Леонида, легло темным рефлексом на душу Павла.

Был он цельным носителем «андреевского», что пронес в своей жизни и писательстве Леонид.

Чуткий и нежный, привязчивый, он в семью входил всей душой: выбаливал все ее неприятности, неудачи, неустройства. Он не только жил в семье – он болел семьей.

Родился Пав[ел] Ник[олаевич] в Орле. Детство – солнечное, осталось ярким пятном в его жизни. Мягкая характером мать; отец больше серьезный, чем строгий. А под пьяную руку озорной и особенно близкий кипевшим озорством сердцам Леонида и Павла.

Озорство любил Пав[ел] Н[иколаевич]. И уже взрослый любил поозорничать. Подвыпивший слегка, он любил изображать из себя на улице куражащегося мастерового, приводя в беспокойство городского на посту. Упрямылся и не шел, бросая в землю с сердцем картуз, и только, когда в городском выросло решительное желание отвести пьяного в участок, прекращал шутку. Любил останавливать проходящих ссорой с кем-нибудь из идущих с ним. Затеял ссору настолько правдоподобную, что партнер из нее никак не мог выпутаться. Не раз ставил дочь⁸ в положение очень неловкое, отчитывая ее перед собравшимися зеваками за вину несуществующую и угрожая репрессиями.

И чем правдоподобнее выходило, чем одураченнее были те, кого хотел одурачить, тем он более был доволен.

Свою старую тетку он пугал и сбивал с толку тем, что во время ужина при громадном количестве гостей, прятал ложки в карман. Ничем нельзя было объяснить пропажу ложек, и тетка сбивалась с ног, разыскивая пропажу. Любил Пав[ел] Ник[олаевич] и озорные шутки Леонида. Л[еоноид] Н[иколаевич], живя уже в своей даче в Финляндии, хотел пробудить в матери⁹ давно забытый страх перед нищетой. Обед в домашнем кругу. На столе перед Леонидом Н[иколаевичем] тарелка. Он, ни слова не говоря, берет ее двумя руками и тихонько, но твердо ударяет о край сто-

* Публикация, вступительная заметка и примечания Л. Н. Кен.

ла. Тарелка раскалывается пополам. В глазах матери на секунду вспыхивает давно позабытый страх. Тарелка разбита, она последняя, и в доме нет ничего лишнего, кругом нищета. Но этот страх на одно мгновение из прошлого. И разом уходит. И улыбаясь, мать велит подать другую тарелку. То же Л[еонид] Н[иколаевич] делает и с другой тарелкой, и с третьей и осторожно опускает осколки на пол у своего кресла. Это озорство Л[еонида] Ник[олаевича] и Павлу нравилось.

Веселый и живой рос Пав[ел] Ник[олаевич]. А тихие улицы провинциального города, ширина и простор не ставили преград расхриставшейся мальчишеской воле.

Его окружал достаток – в собственном саду деревья гнулись от обилия и тяжести яблок, но вкусны были только те яблоки, которые можно было выкрасть из чужого сада.

Радуюсь жизни, шая и озорничая, жил Павел до 12-летнего возраста, пока жив был отец¹⁰. Но со смертью его все изменилось. Незаметно ушло богатство, достаток, постепенно в семью вошла нищета.

И говоря дальше о Пав[ле] Н[иколаевиче], нужно говорить уже не о его жизни, а о жизни семьи и Леонида. На всякую другую душу, менее чуткую и впечатлительную, обстановка жизни и семьи не произвела бы такого решающего значения, какое произвела она на душу Павла.

Нищета и вместе скорбь матери, ее неотвязная забота о том, чем накормить шесть человек детей, безнадежное искание выхода; положение сестер¹¹, почти просящих милостыню, было для Павла тяжестью уже непомерной.

А в эту пору пришли еще черные дни Леонида¹².

Душа гиганта искала путей – еще не определено было писательство. Точно скованный в клетке, Леонид метался, терзаясь и мучаясь. Искал свое «я», пил, стремился к самоубийству. И в его терзаниях, без возможности помочь, терзался с ним и за него Павел.

Пьянство Леонида было кошмарно, жестоко и дико.

Не жалея себя, ища физической боли, стремясь к смерти, Леонид сплошным кошмаром сделал пьяные дни своей юности. Кошмарные для Леонида, они вдвойне были кошмарными для Павла за Леонида и за мать. И не день, и не два, а

целая полоса жизни Леонида тянулась в черной ночи, и постепенно в душе Павла гасли краски.

Он перестал жить нормальными настроениями юности.

То, что было за порогом его дома, где светило солнце, смеялась молодость – казалось обманом. Жизнь обманывает, настоящее только то, что есть вокруг него, в его семье – нищета, слезы, кошмары и пьянство. И если где-нибудь мелькнет радость, он боялся, что придет боль и убьет радость. Он стал бояться жизни – душа жила постоянной тревогой: страшное скрыто где-то недалеко от нас, мы не видим, но оно видит нас и подстерегает.

Он полюбил боль больше радости, душа его тяготела к боли. Он полюбил Достоевского – в нем он чувствовал настоящее – отражение своего быта.

Таким он стал к 18 годам – к тому времени, когда поступил в Строгановское училище¹³. Громадное здание этого училища приютилось на Рождественке. Оно было прекрасно оборудовано художественными пособиями, имело богатый, известный всей Москве музей; роскошную художественную библиотеку. К преподаванию привлекались лучшие силы: там одно время преподавал Врубель, преподавателями были А. Иванов, Виноградов и др.

В громадных залах училища находили себе приют выставки художников русских и иностранных.

Учащиеся делили время между классами, библиотекой и выставками. Молодежь увлекалась искусством, жила радостно и радостно работала. П[авел] Н[иколаевич] нашел там отвлечение от условий своей семейной жизни, но душа его была уже надломлена. И тем резче выступало несоответствие между бодрой и задорной юностью и тем, что окружало его дома и что нес он теперь постоянно в себе сам.

И часто в молодых кружках он срывал смех резкой фразой, полной отрицания и тоски.

Но товарищи любили его, хотя и называли «похоронной процессией».

К этому времени он стал пить. Жизнь же дома, наоборот налаживалась: подрабатывал Всеволод, начал работать в газете Леонид.

А П[авел] Н[иколаевич] пил все больше и больше, точно освобожденный от

Л. Н. Кен

тоски за семью, он всю тоску, которая стала теперь нераздельна с его душой, перенес на себя.

И чем больше было несоответствие между светлой обстановкой художественной работы в училище и угаром его пьяных дней, чем больше светлых тонов падало на семейную обстановку Леонида, тем более уходил в ночь Павел.

К 24 годам, когда он должен был кончить училище, он пил, почти не переставая.

Леонид женился. В маленький домик на Пресне, где жил Леонид с матерью и братом Андреем, Шура¹⁴, первая жена Леонида, внесла много тепла и милой юности.

Точно светлый ангел вошел в дом, так светло-тихо было в чистых маленьких комнатах деревянного дома.

И так печально, непонятно и жестоко было то, что не было там Павла; заслуженный отдых от тревоги и боли за Леонида и семью не коснулся его.

Спиваясь все больше, он ушел от семьи.

Жил он здесь же во дворе, в отдельном флигеле в одну комнату.

Плохо протоптанная дорожка по снегу вела к его флигелю. Нужно было подняться на скользкую ступеньку и, согнув голову, чтобы не удариться о притолоку, войти в дверь.

Грязная, темноватая комната, круглый стол без скатерти, протертый диван. Темная занавеска до полу скрывает небрежную кровать.

Запах перегорелой водки сжимает горло.

После пьяной ночи он шел в училище. Чтобы перебить запах водки, пил в большом количестве валерьянку. Кое-как работал там и, возвращаясь домой, — один в свою комнату, пил опять.

Тосковал о светлой, разумной жизни, об искусстве, которое любил и был способен, задышался в грязи и угаре своей обстановки, но не чувствовал себя в силах разорвать пьяный угар, вырваться, перестать пить. И пил все больше, бесильно борясь, чувствуя, что погибает, и, погибая, спивался все больше.

Когда приходил кто-нибудь из товарищей, вносил молодое и бодрое в комнату, Павел жестоко убивал свет реальным, что было в нем ночью.

В Строгановском было у него два товарища: темнокудрый, румяный, полный надежд Алеша и глухой, примиряющий всех и со всем примиряющийся Миша. И второй был ему ближе, чем первый, как ближе ему была боль, чем радость.

И вместе их троих в первый раз увидела в дверях класса та, которая потом стала женой Павла.

Маленькая, она не могла носить тяжелую рисовальную доску и тащила ее по полу.

А в дверях класса за ней следили три пары разных глаз.

И строго-осуждающими были темные глаза Павла, казавшиеся особенно большими от черной оправы очков.

Бледное, зеленоватое худое лицо, длинные космы черных волос.

Мистически строгое лицо Павла было не похоже на румяное, жизнерадостное лицо Алеши и вечно улыбающееся лицо М[иши].

Чем-то жутким веяло от всей его фигуры. Это чувство жути не рассеялось и от более близкого знакомства, когда насмешкой и резкими словами он отрицал мечты, веру в жизнь и добро.

Теперь к компании трех прибавилось четвертое лицо — ученица Строгановского. Павел стал отходить от пьянства.

Часто вечерами собирались вместе, писали и читали рефераты, спорили о том, что волновало, — в искусстве и жизни.

Часто уходили за город. Шалил и острлил Алеша, длинные мудрствования о жизни, о примиренности, о непротивлении злу разводил М[иша], пристально всматриваясь в лицо собеседника, чтобы по лицу прочесть то, что он недослышал. И бледная, как улыбка выздоравливающего, была улыбка замученного жизнью Павла.

Перед глазами всех одинаковой лежала подернутая весенним таянием широкая снежная дорога парка; по-весеннему каркали вороны, суетясь в оголенных, темнеющих в сумерках неба деревьях; весенний воздух новой верой входил в душу.

И весеннее все воспринимали по-разному. Самым больным, исстрадавшимся уже много, заслужившим покой и отдых более, чем кто-либо, был Павел. Его улыбка радовала, как последний свет угасавшего дня. Этот отблеск света вечернего лежал на всем облике Павла и был замечен тому, кто знал его близко, кому не

бросалось в глаза только внешнее – грязь его пьяной жизни.

Такой ответ ложится на тех, кто в ранней юности обречен страданию или смерти.

И Павел был обречен – обречен жизни. Есть люди только живущие, идущие с закрытыми глазами по проторенной колее избитой дорожки и есть обреченные жизни. Душа их приобщается простому страданию, проходит Голгофу.

Обреченным был и Павел. И обречение лежало на нем, оставляя отблеск вечернего света – печального света угасавшего дня.

Но юность брала свое – Павел любил и женился.

И вышел из грязной комнаты на свежий воздух.

Он стал искать самого себя – рисовал, стал писать. Но в писаниях отражалось только больное – тяжелые сны, кошмары, больные переживания. И псевдоним он взял из Достоевского – Рогожин. Но, написав несколько рассказов, он не особенно стремился их печатать – его увлекал самый процесс писательства. Тогда писали все три брата: Леонид, Павел и Андрей. И, кажется, никому творчество писателя не доставляло столько наслаждения, как Павлу.

Думаю, что самыми счастливыми днями его жизни были, когда, прийдя домой из школы¹⁵, где он преподавал, и, выпавшись после обеда (у него, как и у Леонида, была привычка спать после обеда даже в молодые годы), он садился писать, и когда работа шла настолько, что удовлетворяла его.

Женившись, он перестал пить в той мере, как раньше, но совсем бросить пить он не мог. Он пил иначе, чем пил Леонид. Леонид предавался хмелю периодами: пьет несколько дней, затем на некоторый промежуток бросит, затем запьет опять. Павел пил ежедневно. Слабогрудый, он поддерживал в себе постоянное отравление алкоголем – и никакие уговоры, никакие убеждения на него не действовали. Его не могла удержать от алкоголя тревога и тоска жены, тем более не могли его остановить разговоры о его здоровье. Здоровье он никогда не берег – никогда не остерегался простуды, даже в сильном жару не ложился в постель, перенося все болезни на ногах и уже в последний год

жизни зимой он на урок к старшей дочери Лариссе, которая жила в этом же дворе, из здания в здание переходил без пальто и шляпы.

При его образе жизни – громадном количестве выпитого алкоголя, перегруженности работой (так как он всегда работал сверх меры), при его нежелании остерегаться простуды, можно было думать, что он обладает железным здоровьем. Но это не так. Вернее – единственным, что держало его, самым действительным, были нервы. Весь организм, надорванный и слабый, держался только нервами. И потому менее всего он сам боялся туберкулеза. Врачу, который свидетельствовал его для отправки в санаторию, он с детской верой в силу докторов говорил: «туберкулез – черт с ним – я его не боюсь. Избавьте меня только от боли».

Жил он только нервами, и когда срабаталась нервная система – он перестал жить.

Материальная жизнь Пав[ла] Ник[олаевича], когда он женился, не особенно налаживалась.

Окончив Строгановское и пробыв некоторое время без работы, он взял то, что ему предложили, – место учителя в школе глухонемых. Жизнь не баловала его – и в этом была ее гримаса.

Без специальной подготовки работа среди глухонемых первое время была очень тяжела. Но он не требовал многого. Сравнительно с тем, как был любим в семье матерью Леонид и Андрей, – Павел был любим очень мало. Конечно, не потому, что он был худший сын или дурной человек, а потому что мелодия похоронной процессии в нем глубоко звучала всегда. Мать уставала болеть за него – сначала за его пьянство, потом за его здоровье, затем за всю его тяжело и неудачно сложившуюся жизнь.

Сам же он отдавал родным всего себя.

Обстановка его собственной семьи была более чем скудна.

От родных и случайная, с базара по дешевой цене, мебель; большая ограниченность в костюме. Но терпеливо переносил бедность Пав[ел] Н[иколаевич], и, продавая старьевщику в день особой нужды почти последние брюки, – он деловито вел разговор с татаринном, выколачивая лишний полтинник.

Л. Н. Кен

В это время у него уже родилась дочь Ларисса, которую он в силу своей психики любил с тревогой и нежностью почти болезненной.

Был он очень нежен и физически и духовно. Носил обыкновенное белье и всегда страдал оттого, что оно «шерстит», кожа его могла выносить только самую мягкую ткань. Не любил грубостей, резкостей, ссор, всегда был деликатен. И никто с такой чуткостью не подходил к Леониду в моменты самых острых переживаний Леонида, как делал это Павел. Очень тяжелыми днями для Л[еонида] был его выход к общему столу после 3–4 дней хмеля. За столом царило тяжелое молчание – все слова о постороннем были грубы и не нужны. И только один Павел поднимал разговор и постепенно и осторожно подходил к душе Леонида, разрывая мучительное молчание.

Когда в семью Леонида вошла вторая жена Анна Ильинишна и были нелады с семьей¹⁶, самую примирительную позицию всегда и во всем держал Павел. И делал это так осторожно, что его примиряющая миссия и не чувствовалась даже. Он в жизнь Леонида смотрел его глазами, устраняя субъективное. За особенную чуткость, за несоответствие суровой жизни и мягкого облика Павла, Леонид называл его «Пашетта-князь».

Уходя из пьяной комнаты на Пресне, Павел опять ушел в жизнь Леонида и уже никогда не оставлял его. Много тяжелых настроений Л[еонида] Павел принял на себя сам, многое переложил на него и Леонид. Л[еонид] чувствовал в нем родную душу, зная, что одно сердце одним биением пульса билось и в нем, и в Павле. Глубокой, всегда беспокойной душе Леонида была нужна мягкая, но твердая крепкой любовью душа Павла.

Любимой шуткой Павла был спор с Леонидом о том, у кого из них более орлиный нос. Есть даже фотография, снятая на террасе в Куоккалла, где Леонид и Павел снялись в профиль для беспристрастного сравнения их носов. И только самой настоящей фотографии, которая установила бы их духовную близость, – нет и не могло быть.

Умирала первая жена Леонида Шура. Было это в Берлине. Надежда на выздоровление приходила и уходила вновь. Когда совсем слабой стала надежда, Л[еонид]

вызвал Павла. Павел был учителем в школе. Не задумываясь, он оставил школу и уехал. Там он пробыл с Л[еонидом] последние дни жизни Шуры и дни после ее смерти. Спокойный сравнительно днем, Леонид предавался отчаянию только ночью, когда оставался один с Павлом. Он открывал дверь в пустую комнату жены и звал: «Шура! Шура!». Проведя с Л[еонидом] самые тяжелые дни, проводив его в Италию, Павел вернулся в Россию совершенно разбитый¹⁷.

И всегда, когда к Леон[иду] приходили беды, Павел был с ним. Он был с Леонидом все время, пока Л[еонид] пил, сам в эти дни не прикасаясь к вину.

И только один раз, когда Леонид пил в Москве в гостинице больше недели, когда пьяны были все, даже приходящие в гости мужчины и женщины, – выпил и Павел.

Обычно же он с такой болью относился к пьянству Леонида, что не мог пить.

Провести с Леонидом все дни его пьяного бодрствования было очень трудно. Он пил 3–4 дня подряд, не отдыхая, не ложась спать, всегда готовый к каким-либо эксцессам. От того, кто был с ним, требовалось не только умение очень осторожно предотвратить эксцессы (очень осторожно, п[отому] ч[то] Л[еонид] становился особенно подозрительным и хитрым, и неосторожный подход к делу мог привести к действиям обратным) – требовалось умение быть хорошим собеседником и еще более внимательным слушателем. И надо было быть неутомимым, чтобы все 3–4 дня провести в движении, потому что Л[еонид] не оставался долго в спокойствии, – он ходил, говорил, выходил гулять, снова возвращался.

Наконец наступал самый тяжелый момент для Леонида – после отрезвления выходить к столу – и тут самым нужным и близким был Павел.

И если вспомнить крупную фигуру Леон[ида], когда он, гуляя или шагая по кабинету, развивал новые темы своей работы, говорил о том, что сейчас читает, или о том, как в его мозгу преломляется настоящее-будущее России, всегда рядом с ним рисуется хрупкая, точно болезненная фигура Павла.

А самые условия жизни Пав[ла] – разрыв с женой, одиночество – поставили его в возможность большую часть жизни отдать Леониду.

Разрыв с женой Пав[ел] переживал очень тяжело со всем мучительством андреевской психики. Он углублял боль, делал ее извечной. Чувство потери он переносил из этой жизни в другую: «и в той жизни ты не будешь со мною». Памятником над прошлым он сделал художественную библиотеку, которую собирал для дочери, мечтая, что она пойдет по его же дороге искусства, и фундамент библиотеки, лучшие три книги, отдал жене и дочери с надписью «на вечную память от Павла». А он был тогда молод. (Но библиотека эта после его смерти не попала к дочери.)

Эта личная драма положила глубокий отпечаток на весь его внутренний облик. Душа его пережила Голгофу. Но Голгофу он перенес так, как могло перенести только самое чистое сердце, — без отрицания жизни, без проклятия ее.

В той незлобivosti, в той изжитости прошлого так, что злое даже легкой тенью не затемняло его, сказывалась глубочайшая, не сравнимая ни с чем чистота его сердца. Ни к кому из тех, кого слепая жестокость судьбы поставила в необходимость творить ему злое, не сохранил он зла.

Пережив так много, он стал спокойнее. Ушла та тревожимость, что с отроческих лет жила в нем, то ожидание страшного, что всегда скрыто от человека, та постоянная обеспокоенность, постоянная внутренняя настороженность — это настроение андреевской психики.

У Павла это настроение жило словами: Дьявол ходит по земле, путая и мешая карты. И не злые люди делают злое, а в результате, в самом конечном итоге, они только орудие в руках Слепого и творят его злую волю.

Но это конечно не уменьшало и не могло уменьшить боли.

Были у него особые состояния — реальный страх нереального. Этого страха он ничем победить не мог — он боялся пустых комнат, не мог один на ночь оставаться в квартире. И как много ночей, когда белые сумерки Петербурга сбивали в комнатах определенные образы видимого, он бродил по городу; падал от усталости, присаживался на скамейки и бродил снова до утра, боясь возвратиться в комнаты, пугающие его невидимым, но чувственным им миром нереального.

Не выражая особенно внешне, Леонид осуждал в Павле пассивное переживание боли, как бы без борьбы, без искания выхода, отвлечения помимо хмеля. Жалея Павла, будучи очень внимателен и ласков с ним, оберегая его, Леонид переживал за Павла чувство протеста за его долгую невозможность уйти сердцем от привязанности к жене. Протестуя, Леонид забывал, как долго и упорно он ликвидировал в своем сердце юную любовь, от которой решил отказаться, как долга и мучительна была в нем самом борьба.

Глубокая привязанность сердца — родовая черта андреевской семьи.

Спустя некоторое время после разрыва с женой, Павел Ник[олаевич] женился снова на Н[аталье]Н[иколаевне] Мих[айловой]¹⁸, и от этого брака у него родилась дочь Марина.

Трудно представить себе более случайное сочетание, чем этот брак.

Бессребреник, романтик-мистик — муж и прозаическая, практичная до мельчайших деталей — жена. Это и еще другие причины привели скоро к разрыву. Супруги разошлись, когда Марине было 9 месяцев. И разрыв был настолько полный, что Пав[ел] Ник[олаевич], с особенной нежностью относившийся всегда даже к чужим детям, — совершенно отстранился от дочери Марины, так как между ним и ребенком всегда стояла жена со всеми невыносимыми особенностями своего характера.

Сейчас же после брака П[авел] Н[иколаевич] ездил с женой за границу, проехав по Италии и югу Франции, и из этой поездки вынес только усугубленное очарование Италией, которую полюбил уже в первую поездку к Л[еониду] Н[иколаевичу]. Очарованность Италией жила в нем настолько, что он таил в себе мечту побывать там вновь и даже в последний год своей жизни давал обещание дочери Лариссе не умирать до тех пор, пока не побывает с ней в Италии.

Помимо первой и второй женитьбы были у него и другие привязанности, более или менее длительные.

Но все неустройство личной жизни не вводило П[авла] Н[иколаевича] от Леонида. Бывая с Леонид[ом], Павел всегда относился к нему ласково, внимательно и бережно.

Л. Н. Кен

То, что Павел всегда подходил к Леониду отдать ему именно то, что Л[еонид] искал в нем в эту минуту, – создавалось у некоторых впечатление, что Леонид подавлял, обезличивал (как писалось об этом в воспоминаниях о Леониде Ник[олаевиче] в Москве). Но этого нельзя сказать о Павле – он не обезличивался, он всегда оставался самим собою, только в мягкости своей и большой любви к Л[еониду] он не выявлялся эгоистично сам и подходил к Л[еониду] своим «я» настолько, насколько в данную минуту это было только необходимо.

Очень большим отвлечением от личных неудач и очень большую роль, как увлечение работой, сыграла в жизни Пав[ла] Н[иколаевича] гимназия Лентовской, в которую он поступил в [пропущено]¹⁹ году преподавателем.

Работа в ней отвлекала его от его мучительных переживаний; тесный круг учителей, которых он нашел там и с которыми почти сроднился, в особенно одинокие дни заменяли ему свою семью. Гимназия стала ему домом не менее близким, но более живым, чем его одинокая комната. И все силы он отдал гимназии – он не оставался дома даже в дни болезни, и, кажется, не прошло без него ни одного педагогического собрания.

И этой работе в гимназии он отдавался не по долгу и не из чувства чиновного формализма, а из любви к делу и к детям, с которыми всю жизнь пришлось ему иметь дело, оставаясь до конца жизни педагогом.

Детей он любил необыкновенной, большой и серьезной любовью. Он подходил к ним обычно, как к равным себе, не подлаживаясь ни к их языку, ни к их понятиям, но они понимали его. Он даже никогда не упускал случая подшутить над ними, чего так не любят дети, особенно маленькие, но к его шуткам дети относились по-иному, без нетерпения и слез. И в семье дядя Павел был самым любимым дядей.

Внимание его к детям было настолько велико, что не было ни одной просьбы, которую он, пообещав ребенку, не исполнил бы. Для него каждый отдельный ребенок был целый законченный мир, полный глубокого содержания и интереса.

Вглядываясь в их жизнь, замечая особенности каждого, П[авел] Н[иколаевич]

говорил о детях с чувством радования, точно дивясь разнообразию и красивой глубине детского мира; и ставил этот мир не менее важным, чем жизнь и быт взрослых людей. Часто с Л[еонидом] они вели длинные разговоры о детях, и эти «детские» разговоры, в которых фигурировали маленькие знакомые человечки, были не менее увлекательны, чем интересные романы о взрослых.

Но П[авел] не только любил, он жалел детей. Уже большой своей смертельной болезнью, он переписывался со своей десятилетней племянницей Ириной²⁰, которая в это время также лежала больная. И последнее его письмо перед самой поездкой в санаторию было длиннейшим шуточным конспектом по географии и истории. Терзаемый болями, он в минуты затишья болей находил возможность шутить, чтобы развеселить больного ребенка.

В 1919 г. П[авел] Н[иколаевич] женился снова – на Ан[не] И[осифовне] Вансович²¹ – и жил с ней в маленькой квартирке на Петрогр[адской] стор[оне]. Жизнь сильно осложнялась безденежьем, так как на жалованье учителя он не мог существовать вдвоем с женой. Мучило постоянное беспокойство о добавочном заработке – он все время давал частные уроки и взял даже очень тяжелую и вредную для его легких работу: в гимназии шел капитальный ремонт, перепланировка комнат, рушили стены, отбивали штукатурку, и П[авел] Н[иколаевич] весь вечер после урока до сумерек возился в известковой пыли, вытаскивая из здания кирпич и известь. Там в известковой пыли и мусоре были поломанные дранки, сорванные со штукатуркой, и он предложил мне их собрать на топливо, чтобы не выносить их на улицу в сор. Я два часа провозилась в пыли и от жжения в груди и горле начала мучительно кашлять – а он работал там по несколько часов и много дней подряд.

В 21 году возвратилась из Саратова старшая дочь П[авла] Н[иколаевича] Ларисса и, поступив в Академию Художеств, пошла по пути искусства, которое отец ее так любил.

Весной и летом он уходил с ней на этюды, отдаваясь рисованию с увлечением, как в лучшие дни своей жизни.

Он указывал ей путь в работе, предостерегал от тех неправильных методов, которые осуждал в своей собственной ра-

боте, направлял ее по тому пути, которого не достиг сам и всегда грустил об этом.

Любя искусство, отдавая ему времени меньше, чем хотел бы, мечтая все время вернуться еще к художественной работе, он в дочери видел возможность исполненной мечты.

В жизни перемучившись уже много и за себя и за других, П[авел] Н[иколаевич] подошел к успокоенному, казалось, концу своей жизни.

Все грозы жизни уже прошли над ним.

Из всей большой когда-то семьи осталась в живых одна только сестра Рим[ма] Ник[олаевна], и круг тревоги за семью, которой всегда полна его душа, сузился до минимума.

С Леонидом П[авел] Н[иколаевич] расстался в 1918 г. и после ни разу не встречался с ним²².

Известие о смерти Л[еонида] было ослаблено условиями всей окружающей жизни: притупленностью благодаря голодным годам, обычностью и обилием смертей и потерь вокруг. При той любви к брату, которая была у П[авла] Н[иколаевича], при той душевной спаянности с ним, когда душевное состояние Л[еонида] барометрически отражалось в душе Павла, смерть Л[еонида] – смерть половины души должна была отразиться на П[авле] катастрофически. Павел, принявший как будто смерть Леонида, фактически ее не пережил. Сознание говорило о смерти, но душа бредила еще Л[еонидом] живым.

Смерть Л[еонида] еще надо было пережить, и события помогли ему в этом.

Когда пришли из Финляндии фотографии Л[еонида] и матери, подробности о его последних днях и смерти – только тогда эта смерть стала ощущаться Пав[лом] и переживаться им.

П[авел] Н[иколаевич] показал мне фотографию Л[еонида] Н[иколаевича], снятую после смерти. Одетый в обычный костюм, рубашку, Л[еонид] лежит на террасе дачи Фальковского не в гробу, а на кровати. Словами, в которых сквозила бесконечная нежность, точно боязнь разбудить всегда так оберегаемого, бесконечно любимого брата, П[авел] Н[иколаевич] сказал мне: «точно спит». И по тому, как он сказал эти слова, и по тому, какое у него было лицо, я почувствовала, что смерти Л[еонида] Павел еще не принял. Для него

Л[еонид] Н[иколаевич] еще не умер, еще только спал. Здесь, над фотографией «уснувшего» Леонида, стоял Павел таким, каким он был там с живым Л[еонидом], в его жизни. После слов П[авла] Н[иколаевича] стало страшно и жутко – переживет ли он смерть Л[еонида]? Подробности последних дней, смерть Л[еонида] Н[иколаевича] усилили неугасшую любовь к брату, осветили прежней силой жизнь Л[еонида], которая всегда была близка П[авлу] Н[иколаевичу] как своя собственная.

Состояние последнего времени Л[еонида] Н[иколаевича] было невыносимо – чувство одиночества и ночи над его душой доходило до остроты смертельной тоски.

Он сам говорил:

«Как телеграфист на гибнущем пароходе, что сквозь и ночь и тьму шлет последний призыв: „скорей на помощь. Мы гибнем. Спасите наши души“, – так я, движимый верой в человеческую благодать, бросаю в темное пространство мою мольбу о гибнущих людях. Если бы вы знали, как темна ночь над нами, слов нет, чтобы рассказать об этой тьме.

Кого я зову? Я не знаю. Но разве телеграфист знает, кого он зовет. Быть может, на тысячи миль пустое море, и нет живой души, что услышала бы его молитву. Ночь темна. Ночь темна, и море страшно. Но он верит и зовет настойчиво, зовет до последней минуты, пока не погаснет последний свет и не умолкнет навсегда бессильное радио...»²³.

На этот призыв гибнущего во тьме последним чувством мучительной боли за брата отозвался Павел.

Больной уже сам – он решил писать воспоминания о брате. И теперь памятью он снова вернулся на пути пережитого, уходя далеко, в самое детство, будя и поднимая в своей душе живого, любимого и близкого до чувства тождественности Леонида. При его исключительной нервности это оживление Л[еонида] Н[иколаевича] с тем, чтобы все-таки пережить его смерть, не могло пройти для П[авла] Н[иколаевича] бесследно. Когда он писал воспоминания, он страдал нервными припадками.

В связи с этим его болезнь – сначала простуда, затем ухудшившееся состояние легких – стала принимать форму все более острого нервного заболевания.

Л. Н. Кен

Физические страдания, которые мучили его болями в руке, груди и спине, постепенно разрастались до невыносимых страданий, и он оставался по целым дням, не меняя положения тела.

Было невыносимо видеть, когда измученный целыми неделями не отпускающей, не затихающей ни на минуту боли, он лежал ничком, едва поднимая голову для еды.

Измученный, обессиленный, он проклинал боль, плакал, как ребенок, звал, хотел найти Бога.

Забывье от боли он видел в морфии и отравлялся им. Длительное действие морфия, истощение, ослабляли в нем память, давая забывье и пробелы в сознании, но в общем он не терял сознания.

Незадолго до смерти, всего за неделю с лишним, он передавал мне содержание разговора его знакомого о Леон[иде] Н[иколаевиче]. Медленно, чувствовалось, с большим трудом, напрягая уже не подчиняющуюся ему память, он строил фразу, подбирая одно слово за другим. Каждая фраза была осмыслена, построена правильно, закончена, но только 4 фразы мог он так построить, чтобы передать содержание разговора, а затем мысль перескочила на другое, что так мучило его и чего он так искал, — освобождение от боли, от которой никто не мог избавить его.

На слова утешения: «ты поправишься, опять будешь работать» (его же слова — «я хотел бы только не потерять возможности работать») — вдруг коротко и резко прозвучало в ответ: «а потом?». И в этом слове, коротком и ясном, вся причина его смерти — изжита была воля к жизни и непобедимой подошла смерть. Жена П[авла] Н[иколаевича] — Ан[на] Иос[ифовна] дежурила у постели больного мужа, чередуясь с кем-нибудь из родных. Но несмотря на это, умер он один на руках чужих — племянницы Ан[ны] Иос[ифовны] и прислуги.

Судьба не хотела отступить от него даже в последний час. Так ушел из жизни преданнейший друг детей, учитель-идеалист, незаметный герой труда, человек, чутко, до болезненности принимавший все явления жизни, с душой, открытой миру, как ночному бушующему морю, рвущим, злым стихиям. С идеалом тихой семейной жизни, утех сельскими

красотами природы и искусством. Судьбой он был отдан жизни: двинут в самую глубину личных трагических сопоставлений, крайних, мрачных переживаний, был приобщен к жуткой глубине исканий Леонида. В этом была его скорбная судьба — его обречение.

Примечания

¹ **Чуковский К.** Леонид Андреев // **Чуковский К.** Люди и книги. — М., 1960. — С. 499-500.

² **Андреева А. И.** Память о Павле Николаевиче Андрееве: автогр. (Лич. арх. А. Вагина и Л. Кен).

³ **Андреев Л.** Письма к Павлу Николаевичу и Анне Ивановне Андреевым / публ. Л. Н. Ивановой и Л. Н. Кен // Рус. лит. — 2003. — № 1. — С. 181.

⁴ Книга Екклесиаста или Проповедника. 9, 5-6.

⁵ Андрей Николаевич Андреев (1885—1920?). Планировал написать «интересную свободную книгу» о старшем брате. Сохранился ее фрагмент — дневниковые записи 1913—1914 г. См.: **Андреев А.** Из воспоминаний о Л. Андрееве // Крас. новь. — 1926. — № 9. — С. 209-223; Полный текст: автогр. (Лич. арх. А. Вагина и Л. Кен).

⁶ Всеволод Николаевич Андреев (1877—1915). По свидетельству сестры Риммы Николаевны Андреевой, был человеком «необычайной честности и порядочности»; «к семье относился безразлично, за исключением Леонида, которого любил молчаливой, замкнутой, ничем не проявляемой любовью». (**Андреева Р. Н.** Воспоминания. Тетрадь № 7: автогр. (Лич. арх. А. Вагина и Л. Кен).

⁷ Павел Николаевич Андреев (1878—1923). См.: **Андреев П. Н.** Воспоминания о Леониде Андрееве // Лит. мысль. — Л., 1925. — Вып. 3. — С. 140-207.

⁸ Ларисса Павловна Андреева (1904—1951). Дочь Павла Николаевича и Анны Ивановны Андреевых. В 1929 г. окончила архитектурный факультет Ленинградского высшего художественно-технического института, работала архитектором.

⁹ О взаимоотношениях Л. Андреева с матерью Анастасией Николаевной (1851—1920) см.: «Верная, неизменная, единственная...»: Письма Леонида Андреева к матери Анастасии Николаевне из Италии (янв. — май 1914) / публ. Л. Н. Кен и А. С. Вагина // Леонид Андреев: Материалы и исследования. — М., 2000. — С. 92-142.

¹⁰ А. И. Андреева допускает неточность. В год смерти Николая Ивановича Андреева (1847—1889) Павлу Николаевичу исполнилось 11 лет.

¹¹ Сестры Андреевы: Римма Николаевна (1881–1941) и Зинаида Николаевна (1884–1905). Р. Н. Андреева оставила воспоминания о Л. Андрееве. Они хранятся в ОГЛМТ (Ф. 12, оп. 1, № 211-214) (Варианты воспоминаний – в личном архиве А. Вагина и Л. Кен). В журнале «Россия» (1925. № 4. С. 238-241) был опубликован ее очерк «Мать Леонида Андреева».

¹² О «черных днях» Л. Андреева А. И. Андреева могла знать со слов Павла Николаевича.

¹³ Московское Строгановское центральное училище технического рисования.

¹⁴ Александра Михайловна Андреева (урожд. Велигорская) (1881–1906). О гармонии недолгого счастливого брака Александры Михайловны и Леонида Николаевича свидетельствует их переписка (см., например: Письма к невесте: Из неизд. переписки Леонида Андреева / публ. Л. А. Иезуитовой; предисл. Вадима Андреева // Звезда. – 1968. – № 1. – С. 179-207; Письма из Таганской тюрьмы / публ. Л. Н. Афонина // Там же. – 1971. – № 8. – С. 168-183) и многочисленные воспоминания современников.

¹⁵ В 1903–1909 гг. П. Н. Андреев был учителем рисования в Московском городском Арнольдо-Третьяковском училище для глухонемых.

¹⁶ Анна (Матильда) Ильинична Андреева (урожд. Денисевич) (1885–1948). Венчание Леонида Николаевича и Анны Ильиничны состоялось в апреле 1908 г. Для большой андреевской семьи этот брак стал непростым испытанием. (Об этом см., например: **Андреев В.** Детство. – М., 1966; **Андреева В.** Эхо прошедшего. – М., 1986; **Чуковский К.** Дневник (1901–1929). – М., 1991). Кроме того, сохранилось письмо ноября 1911 г., в котором Л. Андреев, обращаясь к матери, объясняет поступки жены и делает попытку оградить ее от упреков со стороны близких: «Дурной характер А., ее плохое обращение с людьми вызывает к ней недоверие; не верят даже тому, что она меня любит. <...> Я вижу все ее старания сделаться лучше, изменить свое отно-

шение к людям. Правда, ей очень трудно – она вышла из плохой семьи (не у всякого такая семья, как наша), но уже во многом она изменилась к лучшему, стала больше понимать, чувствовать свою вину перед людьми». (РО ИРЛИ. Ф. 9, оп. 2, № 38. Л. 75-76).

¹⁷ См.: **Андреев Л.** Письма к Павлу Николаевичу и Анне Ивановне Андреевым. – С. 168.

¹⁸ Вторая жена Павла Николаевича – Наталья Николаевна Михайлова. Ее брат, Николай Николаевич Михайлов – руководитель петербургского издательства «Прометей».

¹⁹ П. Н. Андреев преподавал рисование в гимназии Л. Д. Лентовской с 1910 г. и до конца жизни.

²⁰ Ирина Андреевна Андреева (1912–1980). Дочь Анны Ивановны и Андрея Николаевича Андреевых. О втором браке А. И. Андреевой и отношении к нему в семье см.: **Андреев Л.** Письма к Павлу Николаевичу и Анне Ивановне Андреевым. – С. 152.

²¹ Анна Иосифовна Вансович (1888–1952). Третья жена П. Н. Андреева.

²² По словам П. Н. Андреева, последний раз он виделся со старшим братом «за 4-е дня до закрытия финляндской границы. О смерти его узнал, как и все, из газет» (**Андреев П. Н.** Воспоминания о Леониде Андрееве. С. 206).

²³ Почти дословно воспроизводится фрагмент статьи Л. Андреева 1919 г. «S. O. S.», в том же году опубликованной на русском языке в Гельсингфорсе, Париже, Выборге, Нью-Йорке. Впервые в России напечатана в 1994 г. См.: **Андреев Л.** S. O. S. // Леонид Андреев. S. O. S.: Дневник. Письма. Статьи и интервью. Воспоминания современников / вступ. ст., сост. и примеч. Р. Дэвиса и Б. Хеллмана. – М.; СПб., 1994. – С. 337-348. Можно предположить, что автор воспоминаний цитирует слова Л. Андреева по авторской машинописи или ее копии. В любом случае, введение в текст воспоминаний 1924 года цитаты из антибольшевистской статьи писателя – поступок мужественный.